

*Эту книгу с любовью посвящаю
Айану, Оливеру, Эмили, Джуд и Стэнли*

8 февраля 1941 г.

Моя дорогая Доротея!

Во время войны людей охватывает отчаяние. Порою мы не узнаем самих себя. А правда в том, что я тебя люблю и, к сожалению, только сейчас это по-настоящему осознал. И ты меня любишь. Я никогда не забуду твоих прикосновений. Думая, что я сплю, ты провела рукой по моей голове и шее. Это было прикосновение любви, реальное, а не придуманное. Никто и никогда не сможет коснуться меня с такой же нежностью. Я это знаю и понимаю, что я потерял.

Прости меня, Доротея, ибо я не смогу тебя простить. Ты поступаешь неправильно и по отношению к этому ребенку, и по отношению к его матери. Чем-то судьба малыша похожа на мою. Я ведь тоже был вынужден покинуть родину, куда вряд ли вернусь. И ты тоже не вернешься, если станешь упорствовать в своем замысле. Но ты станешь упорствовать. Впрочем, и сейчас уже ничего нельзя исправить. Знаю: ты ничего не будешь исправлять. Твоя душа окажется в плену из-за твоих сегодняшних решений и не сможет вырваться. Пожалуйста, поверь мне. Принимая в свои объятия одного, ты непременно должна

потерять другого. Я не смогу этого выдержать, и ты знаешь почему.

Мне вовсе не доставляет радости писать тебе все это. Я пишу и плачу. После окончания войны (а она должна закончиться) мы смогли бы жить вместе. Жизнь с тобой стала моей величайшей мечтой и желанием. После нашей первой встречи, едва я сел на велосипед и поехал обратно, я уже тогда понимал: ты мне необходима, как вода. Необходима во все времена и тогда, когда время исчезнет. С первых минут знакомства с тобой мне захотелось на тебе жениться. Но это невозможно. Ты честная женщина, достойная уважения, однако твои нынешние действия не отвечают этим качествам. Ты изо всех сил стараешься быть хорошей, и тем не менее твои поступки уничтожают результаты твоих усилий, навлекая на тебя позор. Мне не удастся точно выразить все свои мысли, но ты поймешь. Моя прекрасная, удивительная Доротея, что бы сейчас ни думал и ни чувствовал каждый из нас, на этом наша дружба должна прекратиться. Желаю тебе обрести все радости этого мира.

Твой Ян Петриковски

(Это письмо я нашла между страниц книги, изданной в 1910 году. Книга называлась «Развитие ребенка. От долины разрушений к непреходящей

славе». Книгу я положила Филипу на стол для оценки, что он и сделал, оценив ее в скромные пятнадцать фунтов. После этого она заняла свое место в шкафу с антикварными изданиями.) Я привожу книги в товарный вид. Очищаю от пыли их корешки и страницы (иногда каждую по отдельности). Работа кропотливая и небезвредная для моего горла. Зато среди книжных страниц меня ожидают встречи с отзвуками и отблесками мира прежних владельцев. Я нахожу засушенные цветы, локоны, билеты, этикетки, чеки, квитанции, фотографии, открытки и всевозможные визитные карточки. Нахожу письма: неопубликованные произведения обычных людей, зачастую страдающих и далеко не всегда грамотных. Иные написаны корявым языком. Иные можно отнести к блестящим образцам эпистолярного жанра. Признания в любви и описание повседневных банальностей. Иногда это тайные послания, иногда — заурядные рассказы о съеденных фруктах, детских шалостях или теннисных матчах. Скорее всего, судьба не столкнет меня с авторами писем, подписывавшимися просто «Марджори» или «Джин». Филип, мой босс, давно уже пресытился такими находками и потому все, что ему попадается, отдает мне. «Не превращай свой дом в пыльный архив», — постоянно твердит он. Разумеется, справедливо. Но у меня рука не поднимается выбросить эти обрывки и осколки

чужих жизней, которые когда-то так много значили (а может, еще и сейчас значат) для незнакомых мне людей.

Одиннадцать лет назад я зашла в книжный магазин «Старина и современность» как обычная покупательница, а уже на следующий день стала первой продавщицей. Филип был владельцем и управляющим в одном лице. Говорил он тихо, но за спокойной речью угадывалась страстная и порывистая натура. Он предложил мне работать у него. Близилось наступление нового тысячелетия. Время перемен. Время переоценки в буквальном смысле этого слова. Филип оценил мою любовь к книгам и умение общаться с покупателями. Сам он считал людей трудными.

— Вы не находите, что в массе своей они весьма мерзопакостны? — спросил он, и я отчасти с ним согласилась, а однажды он заявил: — Книги рассказывают немало историй, помимо тех, что напечатаны на их страницах.

Разве я этого не знала? Знала. Книги пахнут, поскрипывают корешками, говорят. Книга в ваших руках становится живым существом, которое дышит и что-то шепчет вам.

В мой первый рабочий день Филип мне сказал: — Изучайте книги. Нюхайте их. Вслушивайтесь в них. Поверьте, вы будете вознаграждены.

Я прибираю на полках. Слежу за тем, чтобы книги

на них не стояли слишком тесно. Каждый год провожу инвентаризацию. Я занимаюсь этим в мае, когда заканчивается цветение плодовых деревьев и солнце в задней комнате щедро льется через высокие окна. Здесь у нас обитают подержанные документальные произведения и романы в твердых переплетах. Весеннее солнце ласковой рукой гладит мне спину. Во дворе порхают ласточки, лакомятся мухами и радостно галдят. Еще в мои обязанности входит делать утренний кофе и послеполуденный чай. Я помогаю проводить собеседования с новыми работниками. К нам пришла и задержалась восемнадцатилетняя студентка Софи. Годичный отпуск, взятый ею в университете, растянулся на неопределенное время. Похоже, работать у нас ей нравится больше, чем учиться. Через какое-то время к нам устроилась Дженна. Поработав две недели, она стала любовницей Филипа. Дженну взяли без собеседований. Как и я, она пришла порыться в книгах. Как и у меня, у нее с Филипом завязался разговор, и он предложил Дженне работу.

Но никто не относится к книгам и печатному слову с большей страстью, чем мой босс Филип Олд. Он просто одержим книгами. Филип любит их за одно их существование, за их запах, за ощущения, возникающие, когда берешь книгу в руки. Его восхищает возраст книг и их происхождение. Магазин Филипа впечатляет высокими потолками. Полы выложены каменными плитками, звонко откликающимися на подошвы и каблуки покупателей.

У нас шесть залов и склад на первом этаже. Везде просторно и светло. Мы продаем книги новые и старые, антикварные издания и книги для детей. Все многочисленные стены в этом сверкающем книжном храме отданы полкам. Они рядами тянутся снизу доверху. Магазин находится чуть в стороне от шумной Маркет-сквер и окружен красивым уютным садиком. Кусты лаванды и розмарина окаймляют каменную дорожку, что ведет к массивной дубовой двери на фасаде. Летом мы украшаем чугунную решетку разноцветными флажками, любезно изготовленными для нас одним покупателем. А еще у нас есть небольшая вывеска, нарисованная вручную. Она гласит: Добро пожаловать в книжный магазин

«Старина и современность»!

Сегодня он открыт с 9 до 17 часов
Будьте так любезны, загляните к нам

В плане бизнеса прибыли «Старина и современность» не приносит, да и не может приносить. У нас, конечно же, есть круг верных нам покупателей. К подобным заведениям всегда кто-нибудь тяготеет. Но круг этот невелик. Если книготорговля Филипа держится на плаву, а его квартира на третьем этаже полна изящных, со вкусом подобранных вещей, значит он наверняка черпает деньги из какого-то иного источника. Я об этом не спрашивала. Сам Филип никогда не говорит о деньгах, равно как и о своей личной жизни.

Что касается моей личной жизни, то я получаю

свою долю внимания... если это можно так назвать. Во всяком случае, за мной готовы ухаживать. Один молодой человек несколько раз и под разным соусом предлагал мне записать номер его факса. Он младше меня и принадлежит к числу чокнутых и не от мира сего, которые появляются у нас по субботам, во второй половине дня. Такое ощущение, что он живет в прошлом и его эпоха запаздывает лет на десять. В магазин он приходит в черно-фиолетовом синтетическом спортивном костюме. Еще один потенциальный ухажер — краснолицый и не лишенный привлекательности — признался, что я самая симпатичная женщина из числа встретившихся ему за последние месяцы. Это явное вранье. Дженна куда привлекательнее меня. Сейчас она делает вид, будто протирает полки. Конечно же, она слышит его слова и тихонечко прыскает. Я выразительно смотрю на нее. Она награждает меня не менее выразительным взглядом. А год назад внимание ко мне проявил директор местной начальной школы (в нашем городе их три), тоже завсегдатай магазина, имеющий привычку все свои книжные приобретения оплачивать за счет учебного заведения. Помню, я сложила купленные им книги в наш фирменный бумажный пакет. Директор школы потоптался на месте, откашлялся и пригласил меня в ближайший четверг на обед. Естественно, если у меня нет других планов и если я свободна. У него была обаятельная улыбка и густые черные волосы. Подозреваю, что крашеные.

Этим утром мой отец принес в магазин старые книги, принадлежавшие моей бабуне¹. Пару лет назад мы поместили ее в пансионат для престарелых, и все это время у нас как-то не доходили руки заняться разборкой ее вещей. Имущества у нее не так уж много. Слава богу, бабуня не страдала накопительством. Нынче мой отец не настолько проворен, чтобы быстро рассортировать вещи своей матери и решить, что к чему. Я уже просматривала ее книги и взяла себе несколько — те, которые помнила с детства. Согласившись перебраться в пансионат, бабуня настояла, чтобы я взяла себе любые ее вещи, какие мне понравятся. По ее словам, ей давно наскучило и чтение, и шитье. Мне было невыразимо грустно расставаться с бабуней, но что поделать? Отец больше не мог должным образом заботиться о ней. Я предложила урезать свои рабочие часы в книжном магазине, но эти двое и слышать об этом не хотели.

Я увидела отца, когда он шел по вымощенной камнем дорожке. Махнула ему, однако он не заметил. Тогда я побежала к массивной входной двери и сама распахнула ее.

Отец сказал, что принес десятка два книг, которые сложил в старый, потрепанный чемодан.

— Роберта, это ее чемодан, — сказал отец. — Если хочешь, оставь его себе.

Обязательно оставлю. Я люблю старые чемоданы и уже придумала, чем его можно загрузить.

— Как ты сегодня себя чувствуешь? — спросила я, вглядываясь в отцовское лицо.

Я успела привыкнуть к его постоянной бледности. К жуткой бледности с землистым оттенком. Но рассказывать о самочувствии — не в правилах отца. Он лишь пожал плечами. Достаточно красноречивый жест, означающий: «Ну... да ты и сама знаешь». Перед этим у него несколько недель был период ремиссии, но теперь болезнь снова двинулась в наступление. Перемена была внезапной и потому пугающей для нас обоих.

Из кабинета вышел Филип, и они с отцом поздоровались за руку. До этого они уже встречались раза два, и каждый считал другого «джентльменом». Отец собирался просто отдать книги в магазин. Филип упрявился и говорил, что бесплатно их не возьмет. Сошлись на компромиссной сумме в двадцать фунтов. Мы угостили отца чаем, накрыв стол в задней части сада. В этот день весеннее солнце светило тускло и не особо грело. Потом отец ушел. Когда-то его походка была размашистой и пружинистой. Теперь он по-старчески шаркал ногами. Я старалась этого не замечать.

После ухода отца я опустошила чемодан. На внутренней стороне крышки нашлась потрепанная бумажная этикетка с надписью «Миссис Д. Синклер». Неспешно раскладывая и очищая от пыли книги, я раздумывала, кто же это такая. По словам отца, чемодан принадлежал бабуне. Скорее всего, он перекочевал к ней от этой миссис Синклер. Моя бабушка всегда отличалась бережливостью, довольствовалась тем, что у нее есть, и не торопилась

выбрасывать вещи, которые еще можно починить. Как говорил отец, бережливости ее научили военные и послевоенные годы. «Так все тогда жили», — добавил он. Это была не модная тенденция тех времен, а суровая необходимость.

Я протерла переплет книги «Развитие ребенка. От долины разрушений к непреходящей славе» (ни разу не видела ее в бабушкином доме) и взялась за страницы. И вдруг оттуда выпали два аккуратно сложенных листка бумаги. Письмо! Конверта не было, о чем я искренне пожалела. Письмо, адресованное моей бабушке Доротее, было написано выцветшими синими чернилами, мелким аккуратным почерком. Голубая бумага тоже выцвела, став сухой и ломкой, как крылышки засушенного насекомого. Края листов пожелтели, а на местах сгиба образовались дырочки. Да, но имею ли я право читать это письмо? Любопытство перевесило этические соображения. Мне было не удержаться.

Я несколько раз прочла письмо, однако его смысл не стал понятнее. Меня сразу потянуло сесть. Я опустилась на скрипучий табурет. У меня дрожала рука. Я читала медленно, пытаюсь вникать в каждое слово.

Доротей Петриковски — моя бабушка. Ян Петриковски был моим дедом. Я его никогда не видела. Мой отец — тоже. Все это — неопровержимые факты.

Но это письмо... лишено смысла.

Во-первых, мои дедушка и бабушка были женаты.

Вот только их счастливая совместная жизнь продлилась недолго. А здесь... дед заявляет, что не может жениться на бабушке. Во-вторых, письмо датировано февралем сорок первого года. Но мой дед, командир польской эскадрильи Ян Петриковски, погиб в ноябре сорокового, защищая Лондон от массированных налетов немецкой авиации.

¹ Польское слово «babunia», аналогичное нашему «бабуля». —
Здесь и далее прим. перев.

2

Сам воздух в прачечной Дороти Синклер был вязким от пара. Она обливалась потом, едва успевая обтирать лоб тыльной стороной ладони. Ее платок давно развязался и сполз, однако Дороти не желала даже на минуту оторваться от стирки и заново его повязать. Волосы липли к ее лицу, будто щупальца неведомого чудовища, следившего за ней. Сегодня для нее было особенно важно плотно загрузить себя работой.

Медный бак в дальнем темном углу прачечной шипел и булькал, как адский котел. В баке кипятилась одежда Эгги и Нины. Их форма пачкалась почти ежедневно. Бедняжки не виноваты: они вовсе не неряхи, это постоянное недоедание сделало их неловкими. Но Дороти была вполне способна еженедельно снабжать своих девочек стопкой выстиранного, накрахмаленного и выглаженного белья. При всех тяготах этого занятия она по-своему любила стирать. Платья, чулки, нижние юбки, кардиганы, девчоночьи брюки, рубашки и панталоны. Все остальное белье в своем доме и домах односельчан. Это было нечто большее, нежели традиционная женская работа. Стирка стала ее образом жизни. Все этапы: замачивание, погружение в бак, помешивание, возня со стиральной доской — имели свой ритм и придавали смысл ее жизни. Даже отжимание белья,

чем она сейчас занималась. Вращая рукоятку отжималки, она, что называется, выкручивала душу из одежды, простыней и скатертей. Но высшим наслаждением Дороти и ее любимым временем дня был тот час, когда она развешивала белье на веревках, закрепляя его прищепками. Простыни, наволочки, сорочки развевались на ветру, как паруса, и хлопали, будто крылья ангела-победителя.

Сегодня она должна с головой погрузиться в работу. Сегодня... погрузиться... в работу.

Ей нельзя думать. Ни о чем. С *того* дня она мастерски научилась отгонять мысли. Нередко она думала образами. Язык — он коварный. В нем много подтекста и двусмысленностей. Дороти больше не доверяла словам. И все же совсем повернуться к ним спиной она не могла. Ей нравилось писать, и она попробовала себя в письме. Писала, когда оставалась одна. Украдкой, вынув записную книжку. Рисовать она не умела; оставалось писать. Дороти надеялась превратить свои бессвязные слова в стихи, но строки получались такими же бессвязными, бессмысленными. Ей было тяжело писать о чем-то красивом.

Дороти подняла голову от бака. Она вслушивалась в окружающие звуки и всматривалась в открытую дверь. Пар клубился, не желая выходить наружу. Творилось что-то странное. После потери... после Сидни... в ней развилось шестое чувство, почти родственное обонянию. И сейчас Дороти «принюхивалась». Брюки Нины свисали по обе

стороны отжималки, но Дороти было не до брюк. Вытерев руки о передник, она подошла к двери, подняла голову и выглянула наружу. Солнце светило ей прямо в глаза, мешая смотреть. Простыни, наволочки и скатерти, развешанные по веревкам, тоже слепили ее своей белизной. Дороти прищурилась. Синее небо выглядело таким безмятежным. По нему, словно детишки, торопящиеся домой к чаю, бежали легкие облачка.

Потом она услышала монотонный звук. Низкое гудение, перемежаемое шипением и рычанием, как будто кто-то дразнил собаку. Источник звука Дороти увидела почти сразу же: в небе петлял «харрикейн». Но почему он так быстро снижается? Дороти не помнила, чтобы истребители садились с такой скоростью. У нее застучало сердце, кровь, прилившая к голове, вдруг стала густой. Невидимая рука сжала горло. Никак летчик решил порезвиться в воздухе? Дороти вгляделась. Нет, игрой тут и не пахло. Летчик попал в беду, и не он один.

— Нет! Пожалуйста! — выкрикнула Дороти и побежала по дорожке, усыпанной битым кирпичом.

Куры бросились врассыпную, рассерженные ее вторжением. Эти глупые птицы даже не подозревали, какая опасность над ними нависла. Дороти подбежала к задней калитке, открыла и выбралась наружу. Там лежало поле Лонг-Акр — ей нравилось воображать, будто оно бескрайнее, как Аравийская пустыня. Она давно боялась, что когда-нибудь это может случиться. Дороти видела летчиков — совсем молодых,

бесшабашных парней, обожавших вертеть в небе петли и красоваться по-всякому. Она с ужасом думала, что когда-нибудь такой самолет упадет на ее дом. Это лишь вопрос времени. И вот, похоже, такое время - настало. Но почему летчик не выпрыгнул с парашютом? Подбитый «харрикейн» летел прямо на нее, отчаянно кренясь, будто сломанный маятник. Дороти в ужасе оглянулась на свой дом, потом снова повернулась к падающему «харрикейну» и с облегчением вздохнула. Самолет уходил по дуге от нее и ее жилища, направляясь в простор поля. Как за чарованная, Дороти пошла по невысоким колоскам ячменя. Они цеплялись за ее босые ноги и приятно царапали кожу. Ей всегда нравилось это ощущение. Идти оно не мешало.

Самолет приближался к своей неминуемой, не управляемой посадке, к колоскам ячменя и к Дороти. Он летел прямо над ее головой. На миг огромная металлическая птица заслонила солнце.

— Дороти!

Это кричала Эгги. Издалека. Показались две светло-коричневые рубашки. Девчонки неслись к ней. Эгги продолжала истошно кричать, но Дороти не реагировала.

Как хорошо! Как здорово! Ровно через год после Сидни. Ее бедного маленького Сидни. Ей нужно было бы еще тогда последовать за ним, и она бы смогла. Странно, что эта мысль раньше не приходила ей в голову. Исполненная решимости, Дороти брела по ячменному полю. Прямо к «харрикейну», сдавшемуся

на милость земле. Раздался грохот. Устремился вверх столб удушливого черного дыма. Оглушительный удар. Потом — целый шквал звуков. Самолет, врезавшийся в землю, распался на части.

— Дороти, ты меня слышишь? Миссис Лейн ждет свой чай. Отнеси ей чашку. И еще одну, для миссис Хаббард. И еще. Передай блюдо с генуэзским кексом... Дороти, не горбись. Стой прямо. Господи, ну когда ты научишься простым вещам?

До чего же оно противное — это ее новое белое платье. Густо накрахмаленное, оно стояло колом и натирало шею. Дороти послушно принесла блюдо с генуэзским кексом. Рут Хонор — ее мать — смотрела на дочь со смешанным чувством гордости и недовольства. Миссис Лейн и миссис Хаббард ласково ей улыбались, однако Дороти старалась не смотреть им в глаза, зная, что увидит там жалость. А ей не нужна жалость, ни сейчас, ни вообще. И почему они ее жалеют? Должно быть, это как-то связано с мамой. И уж наверняка это связано со смертью отца. Период траура закончился, и мать с дочерью больше не ходили в черном. Но теперь маме придется жить одной.

Дороти стояла как статуя, наблюдая за матерью и ее подругами. Женщины болтали, лакомились кексом, прихлебывали чай. День выдался жарким. Дороти было очень тяжело в этом дурацком платье. Хотелось уйти в дальний угол сада, где росла скрюченная яблоня. Там можно было босиком разгуливать по

траве, петь себе песенки, сочинять в уме стихи и думать о прошлом, настоящем и будущем. В мире ее фантазий у Дороти было три брата и три сестры. Их звали Элис, Сара, Питер, Джилберт, Генри и Виктория. Она знала, что братья и сестры давно ждут ее. Кто-то сидит в прохладной траве, кто-то — на дереве. Они лениво переговариваются и подкалывают друг друга.

Кекс стремительно исчезал в болтливых женских ртах, и от этого зрелища Дороти зашатало. Сдавило горло, а сердце забилось часто-часто. Она падала, падала медленно... И с шумом приземлилась прямо на поднос, раздавив розовые чашки с блюдами. Чай, который она несла, достался ее новому жесткому платью и ковру.

— Дороти! Боже, какая же ты неуклюжая!

Что-то горячее и острое ударило ее в живот. Потом что-то горячее, мягкое и влажное ударило по лицу. Все вокруг заволакивал удушливый черный дым, за стеной которого продолжало грохотать.

— Дороти! Вернись!

Судя по голосу, Эгги была уже близко.

Дороти увидела своих девчонок по другую сторону пылающих обломков. Эгги и Нина показались ей яркими лучиками маяков в пелене коварного тумана.

— Я хочу к нему, — сказала Дороти, но ее никто не слышал.

Она потерла шею. Новое белое платье было слишком жестким и грубым.

На Дороти смотрела мать.

Дороти пошатнулась. Она медленно падала. Ее белое платье было забрызгано кровью. Голова кружилась в вихре стыда. Ячменные колоски смягчили падение.

Впоследствии всегда говорили, что Дороти Синклер проявила себя героиней. Жарким днем в конце мая 1940 года она попыталась спасти молодого летчика, чей «харрикейн» потерял управление и упал на поле Лонг-Акр. И не важно, что ей этого не удалось. При ударе о землю самолет взорвался, и куски тела летчика разбросало по полю. Дороти действовала храбро и самоотверженно, начисто забыв о собственной безопасности. Она достойна служить примером для других. В эти мрачные и страшные времена Британия остро нуждалась в таких женщинах, как Дороти.

Правду знала только сама Дороти.

Она не оспаривала официальную версию. Пусть люди верят, что так оно и было. Вреда это никому не принесет.

Ближе к вечеру к ней зашла миссис Комптон. Доктор Сомс уже успел обработать и перевязать раны Дороти: болезненные, но неглубокие. Царапина от осколка на животе, несколько ожогов на лице. К счастью, она потеряла сознание и упала в ячмень: это уберегло ее от более серьезных повреждений. Врач тоже назвал ее храброй женщиной.

Миссис Комптон обладала отвратительной

способностью вгонять Дороти в краску. Может, она что-то знала? Дороти не исключала такой возможности. Миссис Комптон считали ведьмой. Скорее всего, не напрасно.

Дороти вяло улыбнулась пожилой женщине и вдруг заметила белый волосок, торчащий из родинки на левой щеке миссис Комптон. Может, показалось и на щеке миссис Комптон нет никакой родинки? После случившегося окружающий мир все еще оставался размытым. Реальность — тоже.

— Ну и вид у тебя! — сказала миссис Комптон.

— Я подумала...

— Знаю, любовь моя. Знаю. Какой стыд.

— Сегодня весь день очищали поле.

Кивком головы Дороти указала на Лонг-Акр, где по-прежнему невозможно покачивались ячменные колосья.

— Думаю, очистка уже закончена. Ты об этом не волнуйся. Ты сделала, что смогла. И даже больше, чем от тебя требовалось.

— Ничего особенного я не сделала.

Обе замолчали, прихлебывая чай. На полочке над плитой тикали часы. Из открытого окна доносились приглушенные мужские голоса. Там собирали обломки металла и куски тела, раскиданные по Лонг-Акру. Помнила ли миссис Комптон ту роль, которую сыграла в драме годичной давности? Знала ли об одной из печальнейших годовщин? Дороти подозревала, что нет. Лишний повод, чтобы не доверять этой женщине. Лишний повод представить

ведьму склонившейся над окровавленной плахой, с перекошенным от ужаса лицом, умоляющей о пощаде. А Дороти уже занесла тяжелый топор и велит своей жертве...

— Погибший был поляк, — сказала миссис Комптон.

— Я слышала об их появлении. Кажется, их отряд направили к нам недели две назад.

— Да. Говорят, поляки ненавидят нацистов сильнее, чем мы.

С легким причмокиванием миссис Комптон допила чай, аккуратно отодвинула от себя чашку и блюдце, после чего сложила руки на коленях и уставилась на Дороти. Дороти отвернулась к окну. Заросли боярышника мешали видеть работающих мужчин целиком. Ей были видны лишь их движущиеся головы. Дороти подумала о погибшем польском летчике, чьи обгоревшие останки раскидало по полю. Какой-то кусочек его тела обжег ей лицо. Дороти коснулась щеки, ощутив под пальцами ткань бинта. Должно быть, вид у нее сейчас действительно ужасный.

— Как вообще поживаешь? — Миссис Комптон наклонилась вперед.

— Хорошо, — коротко ответила Дороти.

Она встала возле кухонного окна. Неподалеку курица сосредоточенно выкапывала из земли червяка. Дороти отрешенно наблюдала за напрасными попытками червяка спастись.

— Что ж, приятно слышать.

Интонация, с какой это было произнесено, намекала на истинные мысли миссис Комптон. Незванная гостья взглянула на часы и сказала, что ей пора. В соседней деревне молодая женщина рождает своего первенца. Схватки начались в половине пятого утра. Возможно, роженице понадобится помощь миссис Комптон.

Дороти молча смотрела на нее.

Миссис Комптон подошла к двери, подняла засов, затем повернулась. Дороти стояла спиной к окну.

— Дороти, прости меня. Я должна была вспомнить. Сама знаешь, для подобных вещей требуется время. Ведь в прошлом году у тебя... где-то в это время. Я не путаю? Если тебе вдруг захочется об этом поговорить, буду рада тебя выслушать. Не надо таскать это в себе. Конечно, жизнь продолжается, и мы должны жить дальше. Но иногда события прошлого не дают нам покоя. Вот так-то, Дороти.

Миссис Комптон ушла, закрыв дверь. Дороти смотрела ей вслед.

И эта женщина еще смеет предлагать себя в слушательницы?

Дороти схватила чашку, из которой пила миссис Комптон, и со всей силы швырнула в закрытую дверь. Только потом, услышав звон осколков, она очнулась и удивилась самой себе. Взяв веник и совок, она нагнулась. Рана на животе сразу напомнила о себе. Превозмогая боль, Дороти собрала осколки.

Элис, Сара, Питер, Джилберт, Генри и Виктория жили, двигались и дышали лишь в воображении

одинокой Дороти. Больше всего ее тревожила неопределенность места, какое она, Дороти, занимала в этой стайке девочек со струящимися волосами и сильных, крепких мальчишек, развлекающихся стрельбой из рогаток и игрой в баскетбол. У всех шестерых были голубые глаза и длинные ресницы. Сообразно фантазиям Дороти, судьба наградила их всех невероятно счастливым детством. Может, она была их старшей сестрой? Строгой, серьезной, любящей показать свою власть? Или по возрасту находилась где-то посередине: заурядная, забытая и вечно оставляемая без внимания? Возможно, она была совсем маленькой. Странной малюткой с всклокоченными каштановыми волосами и зелеными глазами. Ангелочком на толстеньких ножках. Нет, самой младшей она быть никак не могла. Место ангелочка занимала Виктория. Розовые щечки, светлые кудряшки и большие голубые глаза. Тогда, может, Дороти по возрасту шла сразу за Викторией? Ей разрешалось играть с куклами Виктории и маленькой черной коляской. Такое положение подходило ей как нельзя лучше. У нее были две старшие сестры, которые обнимали ее, когда она падала, ставили на ноги, отряхивали платье. О возрасте братьев Дороти как-то не задумывалась. Знала только, что все они высокого роста и шумные. Дороти они не замечали.

Первый мужчина, обративший на нее внимание (к тому времени она давным-давно рассталась с придуманными братьями и сестрами), стал ее мужем.

Период ухаживания продлился недолго. Мать Дороти, резко возражавшая против ее брака, заявила: — Если ты выйдешь за этого... человека... я больше знать тебя не пожелаю.

Дороти познакомилась с ним в 1934 году на похоронах своей тетки Джейн — весьма оригинальной восьмидесятидвухлетней старухи, умершей летом того года. Дороти редко виделась с тетей Джейн, и то лишь в детстве. О теткиной жизни она знала совсем немного. Джейн была старшей сестрой ее матери и отличалась изрядным своеволием. Унизив себя неравным браком, Джейн переехала жить из Оксфорда далеко на север, в графство Линкольншир. При известии о смерти сестры мать Дороти поджала губы и нахмурилась.

— Нам придется поехать в это жуткое графство. Пожалуйста, не забудь положить мою меховую накидку. Мне только еще не хватает простудиться на линкольнширском кладбище и помереть самой. Такую жертву я не собираюсь приносить ни своей покойной сестре, ни кому-либо вообще.

— Мама, но сейчас август. Еще совсем тепло. Даже в Линкольншире.

Естественно, Дороти все-таки положила в чемодан материнскую меховую накидку, а также множество других вещей. Они ехали поездом. Большую часть пути Дороти смотрела в окно, стараясь игнорировать бесконечные вопросы и требования матери. А за окнами вагона во всем своем великолепии сиял август. Мимо проплывали золотистые поля, на которых

работали люди. Дороти с интересом смотрела на тракторы, повозки, лошадей и уборку урожая. Эта жизнь притягивала ее. Как здорово жить на свежем воздухе, работать на земле, на золотистых полях, под золотистым солнцем, от которого и твоя кожа становится золотистой!

В тот же день Дороти познакомилась с Альбертом Синклером — обаятельным молодым человеком, словно сошедшим со страниц книжки о фермерах. Он рассказывал ей о своей жизни на ферме. Дороти внимательно слушала. Потом спросила, что привело его на похороны.

— Моя сестра была приходящей уборщицей у мисс Джейн. Я помогал ей. Чистил сточные канавы, сгребал листья. А какой замечательной женщиной была мисс Джейн. Настоящая леди. Говорят, родня ее не жаловала. Почему? Спросите чего полегче. Вряд ли можно было найти более доброго и отзывчивого человека, чем мисс Джейн.

— Родня — это мы с матерью, — осторожно заметила Дороти.

— Ой, простите. Я не хотел...

— Не надо извиняться. Моя мать давно порвала с Джейн. Ей вообще свойственно отречься от близких.

Они вернулись в Оксфорд, а через пару недель Рут отреклась от единственной дочери, узнав, что та собралась замуж за Берта Синклера. Дороти была только рада. А если ей суждено повторить судьбу тети Джейн, то есть оказаться вычеркнутой из материнской памяти, это радовало ее еще больше. На сей раз поезд

увозил из Оксфорда одну только Дороти. Все ее приданое состояло из матерчатой сумки с личными вещами. В ушах звенели слова прощального материнского предсказания: — Ты еще пожалеешь об этом! Твой брак закончится ничем! Этот человек тебя недостоин!

Вот так Дороти вырвалась из своего непомерно затянувшегося, невеселого детства.

Дороти оставалась девственницей вплоть до первой брачной ночи, то есть до 12 ноября 1934 года. Ей как раз исполнилось тридцать четыре. Во многом Альберт по-прежнему оставался для нее чужим. Он старался быть мягким и нежным, но ему отчаянно хотелось близости с женой. В нем разыгралась страсть, и, при всем старании, процесс лишения девственности не обошелся без боли. Дороти пыталась не подавать виду, однако Альберт был не настолько глуп, чтобы не понять. Он извинился. Дороти приняла его извинения, убедив себя, что со временем все наладится. Он был рослым мужчиной, сильным, мускулистым, с грубой, шершавой кожей. Дороти любила ощущение его рук, обнимающих ее, ощущение его тепла и силы. Через четыре месяца она забеременела, однако беременность окончилась ранним выкидышем.

Потом вторая беременность... третья... и все с тем же результатом.

После почти четырех лет супружеской жизни и пяти выкидышей Дороти перестала мечтать о ребенке. Мечты сменились кошмарными, невыносимыми снами и состоянием печальной покорности судьбе.

Она стала настоящей женой сельскохозяйственного рабочего. Научилась печь, стирать, шить, копаться в огороде и возиться с небольшим выводком кур. Вестей от матери не было. Сама Дороти написала ей несколько писем, заметно приукрашивая свою жизнь. В них она рассказывала о муже, о новой жизни и неудачных беременностях. Ответных писем она так и не дождалась и прекратила отношения с матерью. Можно было подумать, что это ее мать, а не тетя Джейн покоится в земле Лоддерстонского кладбища.

В августе 1938 года Дороти забеременела в шестой раз. С этого момента она начала писать «настоящие» стихи. Сперва у нее ничего не получалось. Она не знала, как перевести ощущения в слова и не потерять смысла. Но не бросала своих занятий. Она писала днем, оставшись одна, за обедом и чаем. Записную книжку прятала то в кухонном шкафу, за кастрюлями и сковородками, то в ящичке стола, то под кроватью. Дороти выбирала места, где книжка не попадетсАльберту на глаза.

Ее прежние беременности обрывались, не продолвшись и двух месяцев. Эта перешла опасный рубеж. Дороти постоянно тошнило, везде и всюду, от любой пищи и в любое время дня. Каждое прикосновение к груди отзывалось болью. Дороти стала слезливой и могла расплакаться без всякого повода. На пятом месяце ее посетила миссис Комптон — местная повитуха и обряжательница покойников. Войдя, она как-то странно посмотрела на

выпирающий живот Дороти: — Как думаешь, мальчик родится?

— Понятия не имею.

С первых минут Дороти стало неудобно от присутствия этой женщины.

— А как ты себя чувствуешь?

— Благодарю вас, теперь лучше. Больше не тошнит.

Миссис Комптон многозначительно кивала. Должно быть, сама она считала этот жест выражением мудрости. Дороти старалась не смотреть на гостью. Миссис Комптон вызывала у нее ненависть. Ей было не выдержать взгляда повитухи. Казалось, даже это проявление заботы таило в себе насмешку. Повитухе было около шестидесяти, если не все шестьдесят. Она родила шестерых детей, вырастила пятерых. Правда, старший сын погиб в Первую мировую войну. Три ее толстые и плодовитые дочери, а также младший сын жили в той же деревне, найдя себе супругов среди местных уроженцев. Все четверо регулярно увеличивали количество внуков миссис Комптон.

По правде говоря, Дороти тоже предполагала, что у нее родится мальчик. Она даже имя ему выбрала — Сидни. Миссис Комптон о своих предположениях она не упомянула ни словом. Альберт сказал, что она вольна выбирать для ребенка любое имя, какое ей понравится. Главное, чтобы не слишком мудреное. Он не особо вникал в подобные дела. Альберт по-прежнему много работал, а с какого-то времени пристрастился к выпивке и растерял былое обаяние. Сидни? Пусть будет Сидни. Альберта радовало, что

жена наконец-то родит ему ребенка. На ферме, в деревне и в пабе мужчины отпускали колкие шуточки по поводу его бездетного брака. Может, он не знает, как правильно делать детей и куда надо совать свою штучку? Эти насмешки больно задевали Альберта, и всю скопившуюся досаду он вымещал на жене. К его чести, руку на Дороти он не поднимал. Но из его взгляда исчезла теплота, взамен появилась укоризна. Его лицо все чаще бывало хмурым. Он почти не слушал то, о чем рассказывала ему Дороти, или ограничивался односложными ответами и пожатием плеч. С этой беременностью его отношение изменилось. Он гордился круглым крепким животом жены. Ему нравилась ее широкая улыбка. Дороти стала для него красивой. Стала такой, какой, по его представлениям, и должна быть жена.

В самом начале шестого месяца беременности она поехала на автобусе в Линкольн, чтобы купить необходимые вещи для малыша. Она чувствовала себя блудной дочерью, возвращающейся домой. Для хранения детского приданого, которое она собиралась сшить и связать за оставшееся время, Дороти купила чемодан. Чемодан привлек ее своей компактностью: восемнадцать дюймов в длину, тринадцать в ширину и восемь в глубину. Он был ржаво-коричневого цвета, с темно-коричневой бакелитовой ручкой, двумя небольшими замкам и ключиком, похожим на игрушечный. Изнутри чемодан был оклеен бумагой с неброским клетчатым рисунком. На дне лежала небольшая белая этикетка, где можно было написать

свое имя. Крупным округлым почерком Дороти вывела: *Миссис Д. Синклер*.

Затем Дороти облизала оборотную сторону этикетки и приклеила на внутреннюю поверхность крышки.

В городе она купила тканей, шерсти, а также пополнила свой запас иголок и ниток. Теперь можно было приниматься за работу. Все разговоры о надвигающейся войне, которой не избежать, воспринимались ею как что-то нереальное и неоформившееся. Они напоминали лист ватмана: акварелист увлажнил его водой, но пока еще не сделал ни одного мазка. Дороти плохо представляла себе войну. Еще не известно, начнется ли эта война, а если начнется, боевые действия будут разворачиваться далеко от ее деревни. Главное, Дороти была беременна, ее перестало тошнить и к ней вернулась прежняя энергия. Ребенку понадобятся пеленки, распашонки, башмачки, одеяльца, а затем и множество другой одежды. И конечно же, ребенку понадобится радостно улыбающаяся мать, умелая, изобретательная и предусмотрительная.

Чемодан прекрасно вписался в пространство под кроватью, и Дороти безотлагательно принялась заполнять его детским приданым. Несколько недель подряд она работала почти без отдыха. Из тонкого батиста она сшила две распашонки. К ним добавились три теплые вязаные распашонки; каждая — со своей шапочкой и пинетками. Из мягкой ягнячьей шерсти Дороти связала одеяльце, после которого принялась

шить белую крестильную рубашечку. Плоды своего труда она не показывала никому, даже Альберту. Естественно, она не смогла скрыть от него сам процесс. Он слышал постукивание спиц, видел нахмуренный лоб жены. Иногда у нее что-то не получалось, и она тяжело вздыхала. Но куда чаще работа шла как по маслу, и Дороти торжествуя улыбалась. Она трудилась не только днем. Вечером работа продолжалась при свете керосиновой лампы. Дороти молчала, а Альберт читал газету и потом заводил с женой разговоры о скорой войне. Но Дороти почти не слушала его, поглощенная надвигающимися родами. Наконец-то она станет матерью. Каждый стежок приближал ее к этому моменту, к новому и загадочному состоянию бытия. Каждый стежок подтверждал реальность ребенка, что лежал в ее чреве. Каждый стежок приближал ее к тому дню, когда она станет полноценной, состоявшейся женщиной и навсегда оставит позади долгую полосу девичества. В движение иглы и спиц Дороти вкладывала все свои надежды и чаяния. Радость жизни и энергия переполняли будущую мать.

Закончив очередную вещь, Дороти стирала ее, если требовалось — крахмалила, а потом гладила. Все детское приданое с особой осторожностью складывалось в чемодан, словно каждая распашонка или курточка были живым малышом. Дороти перепрятала свою записную книжку — из кухонного шкафа на дно чемодана. Теперь это было ее новое потайное место. Ее мир: тайный, принадлежащий

только ей и защищенный от вторжения. В чемодан она положила мешочки с засушенными цветками лаванды, предусмотрительно запасенными летом. Делалось это не только ради отпугивания моли. Дороти любила - удивительный кисло-сладкий запах лаванды, считая его самым надежным запахом в мире. Когда приблизилось время родов, чемодан был полон. Впервые за все годы совместной жизни Альберт порадовал ее своей щедростью. Втайне накопив денег, он купил массивную черную коляску. После долгих часов работы на ферме он шел не в паб, а в сарай, где мастерил колыбель. Дороти он говорил, что в ее нынешнем положении нельзя перегружать ноги, и по вечерам сам готовил и приносил ей чай.

А чемодан стоял под кроватью, дожидаясь, когда начнется опустошение его сокровищ, когда крышка откинется и руки, дрожащие от радости, потянутся за детскими вещами. Стоило протянуть руку, и Дороти могла дотронуться до стенок чемодана. Он, как и ее мечта, был настоящим. Ее мечта сделалась такой же большой и крепкой, как ее живот. Если в мозгу Дороти и возникали тревожные мысли, впоследствии она их начисто забыла. Она помнила лишь радостное ожидание и огромное, нетерпеливое желание, чтобы таинство материнства наконец-то началось.

Оно должно было начаться вот-вот.

3

Коляска «Серебряный крест»: 150 фунтов

*Набор одеял из вафельного
полотна для коляски: 5,5 фунта*

*Набор простынок пастельных
тонов для коляски: 5 фунтов*

Итого: 160,5 фунта

ОПЛАЧЕНО С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

(Этот написанный от руки счет из давно закрытого магазина подержанных детских товаров «Все для малютки» я нашла внутри романа Луизы М. Олкотт «Маленькие женщины». Книгу выпустило издательство «Дин». Супер-обложка в прекрасном состоянии. В тексте, помещенном на ней, Джо Марч названа красавицей. Кому-то будет приятно обнаружить этот роман в отделе детских книг и, возможно, купить за скромную сумму два с половиной фунта.)

Квартира Филипа находится прямо над магазином «Старина и современность». За все одиннадцать лет работы это мое третье вторжение в его жилище. Первый раз он попросил меня помочь с устройством

небольшой вечеринки по поводу открытия большого зала современных изданий. Все угощение он купил в ближайшем супермаркете «Уэйтроуз»: канапе, соусы, сыр, печенье, виноград и вино. Ему требовалась помощь, чтобы перенести всю эту снедь вниз и разложить на большом круглом дубовом столе в фойе. В тот день мы настезь открыли окна витрин и пригласили покупателей устраиваться в саду. Идея принадлежала мне, и хотя Филип сначала сомневался, он решил попробовать. С тех пор такие фуршетные стали традицией и очень нравятся нашим покупателям.

Второй раз я побывала у него прошлой зимой, когда Филип подцепил грипп и я зашла его поведать. Жизни моего босса ничего не угрожало, но чувствовал он себя, выражаясь его же словами, дерьмово. Кашляющий, с пышущим жаром лицом, он лежал на вишнево-красном кожаном диване, накрывшись одеялом, глотал подогретое виски и смотрел «Судью Джуди». Он заявил, что слишком болен, чтобы скучать на дневных телепрограммах. У него не было сил дотянуться до пульта и пощелкать по каналам. Самое скверное, он не мог читать, поскольку его глаза «плавилась в глазницах». Однако судебный сериал ему вполне нравился. Свой интерес он назвал «грешным удовольствием» и попросил меня никому не рассказывать. А потом Филип произнес весьма странные слова:

— А знаешь, Роберта, я взял тебя на работу лишь потому, что ты искренне согласилась с моими

словами. Я сказал, что люди в массе своей весьма мерзопакостны. Помнишь?

Я тогда не до конца согласилась с его утверждением, но эти слова я помнила. Я еще подумала: «Вот человек, с которым я могла бы работать». Но услышать это от гриппующего Филипа, распластанного на диване, вцепившегося в стакан с подогретым виски? Удивительно, что он, как и я, хорошо помнил наше «собеседование».

Дженна. Она... непредсказуема. Мы с Софи наблюдаем за любовниками со смешанным чувством удивления и любопытства. Филип? Дженна? Филип и Дженна? У покупателей это вызвало такое же недоумение. Кто-то шепотом высказал мнение, что такой союз быстро развалится. Она не его тип. Он мужчина не ее круга, да и она женщина не его круга. Так говорили некоторые.

Поймите: Филип не просто очкарик, книжный червь мужского пола. Он весьма неопрятен, обожает джинсы, из которых вполне может торчать хвост плохо заправленной рубашки. У него длинные волосы, болтающиеся сосульками вокруг шеи. Но если приглядеться к нему повнимательнее, понимаешь, сколько в нем обаяния. Что касается Дженны, она очень хорошенькая. Этого я не стану отрицать. Они тянутся друг к другу. Их роман начался полгода назад, но они по-прежнему вместе. Вопреки всем прогнозам, Дженна обосновалась в изысканной квартире Филипа.

Дженна — эффектная голубоглазая блондинка. У нее вьющиеся волосы. Она тип женщины, на которую

мужчины в возрасте от двенадцати до ста двенадцати лет, имеющие традиционную ориентацию, непременно будут заглядываться в любое время и в любом месте. И вдруг она скрывается от мира за стенами книжного магазина «Старина и современность» и становится подругой его сардонического владельца, который чуть ли не вдвое ее старше. Мы с Софи подозреваем, что их недолгие свидания происходят прямо в магазине. Как-никак они же работают вместе. Нередко я застаю их в дальнем зале, где у нас полки с подержанными романами. При моем появлении они тут же распочковываются, вынуждая меня краснеть и бормотать извинения. Во взгляде Дженны я замечаю удивление и упрек. Я ретируюсь, не осмеливаясь посмотреть на Филипа. Не знаю, кто из нас троих должен испытывать большее замешательство.

Во всяком случае, Дженна теперь больше читает. Мне трудно представить, чтобы она много читала до своего устройства в наш магазин. Она не «книжный» человек, что бы под этим ни подразумевалось. Дженна занимается распаковкой наших ежедневных новых поступлений. Покусывая нижнюю губу, она сверяется со списком, убеждаясь, что нам привезли все перечисленные там книги. Затем аккуратно расставляет часть привезенного по полкам, а предварительные заказы складывает под прилавок. Лицо у нее сосредоточенное, как у шестилетней девочки, разучивающей новый трюк со скакалкой. Довольно часто Дженна обращается к нам за

помощью, и мы с Софи терпеливо ей помогаем. Нам всем нужно учиться и набираться опыта. Что ни говорите, а команда у нас хорошая. Я знаю: Филип гордится нами.

Сегодня квартира Филипа сумрачна и тиха. В таком же состоянии пребывает и Дженна, которая открывает мне дверь и пропускает внутрь. Она не берет меня за руку, но я чувствую, как она загоняет меня прямо в гостиную. Знакомый кожаный диван вишневого цвета. Дженна включает большой торшер фирмы «Тиффани» и спрашивает, хочу ли я чего-нибудь выпить. Я отказываюсь. Себе она наливает джин с тоником. Сегодня она не работает. Ей нездоровится. Замечаю, что ее манеры одинаковы и в залах магазина, и здесь, когда она трогает вещи Филипа, наливая его джин. В этом тихом пространстве Дженна напоминает порхающую птичку крапивника. Мне почему-то становится ее жаль. Почему — не знаю.

Что-то здесь не так.

Чувствую себя взломщицей, проникшей во владения Филипа. Он уехал на книжную ярмарку и пробудет там целый день. Дженну он предупредил, чтобы не ждала его раньше половины девятого. Сейчас два часа дня, но шторы все еще плотно задернуты. На кофейном столике — пустая кофейная чашка и тарелка, усеянная крошками. Ощущается атмосфера какой-то расхлябанности. Обычно Филип терпеть не может беспорядка.

— Пьем до дна, — говорит Дженна и быстро опустошает стакан. Я улыбаюсь, не зная, что говорить

и зачем вообще она меня позвала. — Роберта, я вляпалась в историю, — объявляет она.

— В какую?

— В ту самую, в какую вляпываются женщины испокон веку. Понятно?

Она вдруг начинает плакать, закрывая лицо рукой и пустым стаканом. Я подхожу к ней, глажу по руке, пытаюсь как-то успокоить.

Потом слезы иссыкают. Дженна тянется к массивному кофейному столику с крышкой из дымчатого стекла и достает снизу пачку бумажных платков.

— И что ты думаешь обо мне теперь? — спрашивает Дженна.

Она наливает себе вторую порцию, которую пьет медленно, маленькими глотками. Ее белые руки слегка дрожат.

— Дженна, не мне тебя судить, — говорю я. — Слушай, ты же большая девочка, да и Филип — взрослый мужчина. Такое происходит сплошь и рядом. Может... несколько неожиданно... но ты с этим справишься. Как Филип к этому отнесся?

Ее взгляд полон ужаса. Ойкнув, я опускаю глаза, потом смотрю на зашторенное окно, на большое зеркало в позолоченной раме над камином.

— Я обнаружила это неделю назад. Почувствовала странную усталость. С месячными была задержка. Тогда я сделала тест на беременность. Роберта, я чуть с ума не сошла от ужаса. Пойми, я не хочу детей. Я их никогда не хотела и никогда не захочу. Я всегда так

осторожничала. И вдруг... это катастрофа.

— Думаю, тебе нужно было бы советоваться не со мной, а с Филипом, — говорю я и мысленно отчитываю себя за свою прямолинейность.

— За каким чертом мне с ним советоваться?

— Потому что... ко мне это не имеет никакого отношения. Это ребенок Филипа.

— Нет, я так не думаю... В общем, я сомневаюсь.

Мне стыдно, но, услышав об этом, я мысленно вздыхаю с облегчением. С громадным облегчением. Это не его ребенок. Возможно, не его. Ну и прекрасно! Значит, ребенок от кого-то другого. Тогда возникает сразу два вопроса. Чей это ребенок? Неужели она...

Храбростью я не отличаюсь и стараюсь всячески избегать любых конфликтов. Поэтому сижу молча, не зная, какие слова говорить дрожащей Дженне. Я не в состоянии думать о Филипе... Мне кажется, уж кто-кто, но он ни за что не потерпит двуличности. Бедняжка Дженна. И представить не могу, каково ей сейчас. Наверное, для нее это действительно катастрофа.

Но надо отдать ей должное: она очень, очень мила. Пожалуй, даже красива. Я, как и многие другие, включая Филипа, не могу остаться равнодушной к красоте. К ней тянешься, не видя последствий. И винить Филипа я тоже не могу, поскольку... ситуация вполне понятная. Он не монах и не обязан жить аскетической жизнью. Меня интимная сторона его жизни вообще не касается. Я всего лишь служащая в его магазине. Вряд ли Филипу пришло бы в голову

назвать меня хотя бы своей приятельницей.

Дженна вздыхает и ставит пустой стакан на столик:

— Что ты думаешь по этому поводу?

— Почти ничего.

В критические моменты помощница из меня никакая, и сейчас как раз такой момент.

Кризис.

Дженна падает на диван и плачет, наверное, целую минуту. Потом шумно сморкается в бумажный платок. Я придвигаюсь к ней поближе, и она кладет голову мне на плечо.

Я стучу ей по коленке, глажу ее спину:

— Дженна, ты не переживай. Все будет хорошо.

Есть клиника. Одна ее подруга... Так, Дженна нашла клинику. Завтра она туда пойдет и сделает аборт. Проблема будет решена. Филип ни о чем не узнает. Слава богу, завтра он опять поедет на книжную ярмарку. Он и не должен знать о подобных вещах. Никогда. Дженна его любит. По-настоящему. Она допустила оплошность. («Роберта, а кто не ошибается?») Встретила своего бывшего парня, тот признался, что помнит ее до сих пор и что она разбила ему сердце. Уговаривал ее вернуться... Ей в тот момент стало его жалко. Глупо, конечно.

— А ты когда-нибудь делала аборт? — спрашивает она.

— Нет, — почти сразу отвечаю я.

— Я не хочу идти туда одна. В смысле в клинику.

— Понимаю.

— Ты пойдешь со мной? Ну пожалуйста.

— Конечно пойду.

— Мне больше некого попросить. Совсем некого.

— Не волнуйся, я пойду с тобой.

— Не хочется просить Софи.

— Само собой.

Я ее понимаю. Они почти ровесницы, обе девицы видные. Как говорят, женщины на все девяносто пять. Софи тоже симпатичная: темно-каштановые волосы, задумчивые глаза шоколадного цвета, ровный загар. Естественно, между ними возникает соперничество. Ревность. Пусть без ссор и эксцессов, но женская конкуренция дает себя знать. Мне нравится наблюдать за всем этим со стороны, с безопасного расстояния. Я старше их на целых десять лет. А по ощущениям — и того больше. Это мое преимущество. Огромное преимущество. Я с ними не соперничаю, они не чувствуют во мне угрозу. Я сторонняя наблюдательница, не выказывающая особого интереса. Но в то же время эти девицы — мои подруги. И одной понадобилась помощь.

— Мне нужен человек, которому я могу полностью доверять, — говорит Дженна. — О таком не каждому расскажешь. Филип вообще не должен об этом узнать. Одной мне не выдержать. Помогите мне. Ты такая чуткая и заботливая.

— Дженна, я тебе пообещала пойти. Значит, пойду. Не надо дергаться. А как насчет отца?

В ответ Дженна смеется. Смех у нее странный, полный отчаяния.

— Боже мой, Роберта, до чего же ты бываешь

наивной.

Филипу она скажет, что целый день проведет с подружкой, которую давно не видела. Я позвоню и скажу, что мне нездоровится. Болит голова, менструальные боли. Словом, все звучащее правдоподобно. Бедняжку Софи ожидает тяжелый день. Одна за всех. Но Дженну это не волнует. Она считает, что Софи справится. К тому же сейчас у нас нет наплыва покупателей.

Я молча слушаю, как Дженна строит планы на завтра, и вспоминаю свой прошлый день рождения. Мне тогда стукнуло тридцать четыре. Неподалеку от нашего магазина есть пекарня. Я принесла оттуда пирожные и пончики, щедро начиненные растительными сливками и красным приторным сиропом (в меню он назывался джемом). Дженна отказалась от пирожного: она-де следит за своим весом. Я пожалала плечами и сказала, что в таком случае отнесу пирожное своей кошке. Моя киса обожает пирожные, особенно с дней рождения. Помню, как переменялось лицо Дженны. Она покраснела, пробормотала извинения и взяла пирожное. Конечно, мне потом было очень стыдно. Я и в мыслях не имела ее унижить. Я просто пошутила... Потом, открыв на магазинной кухне мусорный бак, я нашла там это пирожное. Дженна его едва надкусила. Тогда я поняла: Дженна привыкла к унижениям. Вряд ли у нее много подруг. С того дня я решила изменить свое отношение к ней. Я не ревнива, и мне с ней нечего делить. Постепенно она прониклась ко мне доверием,

и мы стали подругами.

И теперь я просто обязана ей помочь. Разве у меня повернется язык сказать «нет»?

— Хорошая ты женщина, Роберта. — Дженна вытирает нос и грустно улыбается мне.

А мои мысли уже далеко от гостиной, дивана и Дженны. Так всегда со мной бывает в напряженные драматические моменты. Мне хочется поговорить с бабуней. Хочется расспросить ее о письме. Даже сейчас, лежа у меня в сумочке, оно продолжает нашептывать мне странные слова. Это письмо я помню почти наизусть. Мне нужно повидать бабуню, и как можно скорее. Я все равно собиралась к ней. Но могу ли я спросить ее об этом письме? Я ни в коем случае не хочу ее огорчить своими попытками проникнуть в тайны, которые она не хочет раскрывать.

Рядом сопит бледная, испуганная Дженна. Вначале я должна помочь ей.

Агата Мейбл Фишер и Нина Маргарет Малленс свалились на голову Дороти в марте 1940 года. Обе из Лондона, только-только закончившие шестинедельные курсы для работниц Женской земледельческой армии. Администрация графства наняла их на работу и направила в деревню, где жила Дороти. Девушкам требовалось жилье, а она одна занимала целый дом. То, что ей вообще позволили остаться в этом доме, Дороти считала редким везением. Альберт пошел в армию добровольцем, дабы исполнить свой долг. Так тогда говорил не он один, а все, кто пополнял ряды добровольцев. Но и Дороти, и односельчане знали: Альберт попросту сбежал от нее, оставив позади свое горе и недовольство. И потом, ему хотелось близости с женщинами. Супружеские отношения с женой полностью прекратились. Дороти была достаточно умна и проницательна, чтобы это понять. Ведь ему было всего тридцать три года. «Отпусти его», — сказала она себе. Тоски по Альберту она не ощущала.

До нее стали доходить слухи, что кое-кто из местного начальства и односельчан сомневался в ее праве остаться в деревне. По мнению этих людей, Альберту было незачем идти добровольцем. Его ценили за трудолюбие и умелые руки. Пусть бы себе дожидался официальной повестки, которая могла и не

прийти. Дороти оказалась в трудном положении. В конце концов ей позволили остаться, но обязали заняться полезной для деревни работой — стиркой. Ее освободили от платы за жилье и даже пообещали скромное жалованье, за которое она должна была обстирывать всю деревню. В прачечной ей поставили кипятильный бак последней конструкции и ручную - отжималку. Поговаривали даже о покупке стиральной машины. В ее саду вкопали столбы, между которыми крест-накрест натянули целые ярды сушильных веревок. Дороти только радовалась, что не завела коз. Миссис Твуми предлагала ей по весне двух очаровательных козлят. Они были милыми созданиями, но очень любили жевать выстиранное белье.

Потом появились эти девушки, Эгги и Нина. Они постоянно смеялись, по поводу и без. Были жизнерадостными и суматошными. Дороти с удовольствием обстирывала своих квартиранток. Ей даже нравилось кипятить нижнее белье Эгги, запачканное менструальной кровью, а также гигиенические салфетки. Эти салфетки Дороти нашла им в первые же дни после их приезда в деревню. Пустила на эти цели камчатную скатерть персикового цвета, которая однажды застряла в вальцах отжимальной машины и была непоправимо испорчена. Хрупкая блондинка Эгги, удивившая Дороти гладкостью кожи и серебристым смехом, очень страдала от менструальных кровотечений. Они мучили ее с беспощадной регулярностью и сопровождались

болями во всем теле. Нина была ее полной противоположностью. Выше ростом, крепче телом и с низким голосом курильщицы. Ее месячные не отличались регулярностью, длились недолго и оставляли на одежде лишь редкие капли крови. Нина весело плыла по жизни с изяществом океанского лайнера. За несколько недель совместной жизни Дороти успела узнать и почти полюбить этих девочек.

Она поселила их в своей комнате. После Сидни Дороти покинула эту комнату, оставив Альберта одного ворочаться на широкой медной кровати. Для себя она выбрала комнатку, окно которой выходило на задний сад. Из окна ей было видно поле Лонг-Акр, а также далекие вязы и Лоддерстонский аэродром. Дороти вполне устраивала небольшая узкая кровать со старым матрасом. Ей нравилось лежать и писать. Читая потом написанное, Дороти удивлялась. Казалось, эти слова вывел кто-то другой.

Для своей кровати она сшила новое покрывало из всего, что нашлось под рукой. В ход пошли лоскуты и лоскутки, квадраты, треугольники и бесформенные кусочки. Покрывало получилось диковинным. В маленьком шкафу Дороти развесила свою немногочисленную одежду. Нижнее белье сложила в ящик туалетного столика, а на прикроватный столик поставила вазу с полевыми цветами. Каждый вечер, закончив дела, она уходила к себе и плотно закрывала дверь. Альберт ни разу к ней не постучался, за что она была ему только благодарна. Потом он покинул деревню. Это случилось в августе 1939 года. Он

просто сбежал. Дороти толком не знала ни где он, ни чем занимается. Альберт не писал ей писем и вообще не давал о себе знать. Денег тоже не присылал. Дороти решила, что это развод, и начала свою одинокую жизнь. Она старалась обеспечивать себя всем необходимым. Сама пекла хлеб. Те несколько яиц в неделю, что несли ее куры, Дороти убирала в кладовую. Она делала новую одежду из старой и стала искусной швеей. Научилась шить на старом зингере». По словам Альберта, эта машина принадлежала его матери. В этом году Дороти засеяла огород и, как умела, обработала фруктовые деревья. Не все хорошо вошло, не все дало ожидаемые плоды, но Дороти ела так мало, что ее это ничуть не заботило. Она ела просто для поддержания сил, не ощущая никакого удовольствия от еды. Вся пища имела для нее отвратительный вкус, а жевание и глотание вызывали тошноту. Она начала ненавидеть свое тело за его худобу и странные, отталкивающие потребности, за неспособность быть нормальным женским телом и исполнять то, что ему положено. Дороти не знала, кто наградил ее испорченным телом — Бог или природа. Впрочем, она давно уже не терзалась этим вопросом.

А потом ее дом наполнился зычным говором лондонских кокни, громким смехом, неприличными словами. Но все это несло с собой и энергию. Дороти готовила девочкам еду, стирала их одежду и постельное белье, чинила и штопала, стараясь, чтобы они могли по-настоящему отдохнуть после тяжелого трудового дня. Она не видела более усердных

сельскохозяйственных работниц, чем эти городские девицы. Альберту — сильному и выросшему в деревне — такая работа давалась легко. А Эгги и Нина каждый день вели настоящие сражения с полем, стараясь сделать все, что от них требовалось. Они потели, плакали от досады, но продолжали. Они натирали ноги, их руки покрывались волдырями, царапинами и порезами. Их ладони грубели и становились мозолистыми. Но девчонки не сдавались. Их пример вдохновлял Дороти, наполняя ее жизнь смыслом и надеждами.

С момента падения «харрикейна» на Лонг-Акр прошло уже три дня. Раны Дороти не успели зажить, и бинтов она не снимала. Но она не желала сидеть без дела и, преодолевая боль, стряпала для девочек и даже ухитрялась чуть-чуть стирать (а гора скопившегося белья росла). В это время к ней постучался неожиданный гость.

Она слышала, как кто-то открыл засов на передней калитке и вошел, не забыв закрыть саму калитку. Дороти быстро спрятала записную книжку в ящик, где лежали ложки, вилки и ножи. Она писала новое стихотворение, и у нее впервые что-то получилось. Во всяком случае, пара строк выглядела вполне осмысленной. Ей даже казалось, что она начала писать как-то по-новому. Кто же это может быть? Скорее всего, миссис Комптон. Дороти морально подготовилась к появлению этой неприятной особы и, чтобы скрыть недовольство, замурлыкала себе под нос

песенку. Миссис Комптон незачем видеть, в каком она состоянии. Дороти стремилась ничем себя не выдать. Фактически она побаивалась этой всезнающей пожилой женщины.

Однако, судя по стуку в дверь, это не миссис Комптон. Стук короткий, энергичный. Так стучатся мужчины. Вытерев руки о передник, Дороти подошла и открыла.

— Миссис Синклер? — спросил пришедший.

В его английском улавливался иностранный акцент. Наверное, польский, предположила Дороти. В руке мужчина держал большой букет полевых цветов, старательно пряча его за спиной.

— Да. Что вам угодно?

Дороти говорила сухим, натянутым тоном, с ужасом узнавая в голосе интонации своей матери.

— Я командир эскадрильи Ян Петриковски.

Он произнес это так, словно его имя было Дороти знакомо. Затем осторожно взял и поцеловал ей руку, после чего тут же отпустил и изящным движением преподнес цветы.

— Ой, спасибо, — пробормотала покрасневшая Дороти.

Теперь ее голос не напоминал материнский. Она взяла букет и понюхала цветы; больше из вежливости, чем из любопытства. О чем говорить с ним, Дороти не знала. Как и все мужчины в военной форме, он выглядел подтянутым и не лишенным обаяния. Дороти почему-то сразу отметила его темные прилизанные волосы, зачесанные на пробор, и